

# АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

ЕЩЁ РАЗ  
БАЗАРОВ

# Александр Иванович Герцен

## Ещё раз Базаров

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=25447493](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25447493)*

### **Аннотация**

«Вместо письма, любезный друг, посылаю тебе диссертацию, да еще неоконченную. После нашего разговора я перечитал статью Писарева о Базарове, которую совсем забыл, и очень рад этому, то есть не тому, что забыл, а тому, что перечитал. Статья эта подтверждает мою точку зрения. В своей односторонности она вернее и замечательнее, чем об ней думали ее противники...»

# Содержание

Письмо первое	4
Письмо второе	20

# Александр Герцен

## Ещё раз Базаров

### Письмо первое

Вместо письма, любезный друг, посылаю тебе диссертацию, да еще неоконченную. После нашего разговора я перечитал статью Писарева о Базарове, которую совсем забыл, и очень рад этому, то есть не тому, что забыл, а тому, что перечитал. Статья эта подтверждает мою точку зрения. В своей односторонности она вернее и замечательнее, чем об ней думали ее противники.

Верно ли понял Писарев тургеневского Базарова, до этого мне дела нет. Важно то, что он в Базарове узнал *себя* и *своих* и добавил, чего недоставало в книге. Чем Писарев меньше держался колодок, в которые разгневанный родитель старался вколотить упрямого сына, тем свободнее перенес на него свой идеал.

Но «в чем же может быть интересен для нас идеал г. Писарева? Писарев – бойкий критик, он писал много, писал обо всем, иногда о таких предметах, которые знал, но все это не дает его идеалу права на общее внимание».

В том-то и дело, что это не его личный идеал, а тот идеал, который *до* тургеневского Базарова и после *него* носился в

молодом поколении и воплощался не только в разных героях повестей и романов, но в живые лица, старавшиеся принять в основу действий и слов своих базаровщину. То, что Писарев говорит, я слышал и видел десять раз; он простодушно разболтал задушевную мысль целого круга и, собрав в одном фокусе рассеянные лучи, осветил ими нормального Базарова.

Базаров для Тургенева больше, чем посторонний, для Писарева – больше, чем свой; для изучения, конечно, надобно взять тот взгляд, который в Базарове видит свой *desideratum*<sup>1</sup>.

Противники Писарева испугались его неосторожности; отрекаясь от тургеневского Базарова, как от шаржи, они отмахивались еще больше от его преображенного двойника; им было неприятно, что Писарев опростоволосился, но из этого не следует, что он его неверно понял.

Писарев знает сердце своего Базарова дотла, он исповедуется за него. «Может быть, – говорит он, – Базаров в глубине души признает многое из того, что отрицает на словах, и, может быть, именно это признаваемое, это затаившееся спасает его от нравственного падения и от нравственного ничтожества». Мы считаем эту нескромность, заглянувшую так далеко в чужую душу, очень важной.

Дальше Писарев так характеризует своего героя: «Базаров чрезвычайно самолюбив, но самолюбие его незаметно

---

<sup>1</sup> желаемое, искомое (*лат.*).

(ясно, что это не тургеневский Базаров) именно вследствие этой громадности. Удовлетворить Базарова могла бы только *целая вечность постоянно расширяющейся деятельности и постоянно увеличивающегося наслаждения*<sup>2</sup>.

Б. везде и во всем поступает только так, как ему хочется, или как ему кажется выгодным и удобным, им управляет только личная прихоть или личные расчеты. Ни под собой, ни вне себя, ни внутри себя он не признает никакого регулятора. Впереди никакой высокой цели, в уме никакого высокого помысла, и при всем этом силы огромные. Если базаровщина *болезнь*, то она болезнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какие ампутации и паллиативы.

Б. смотрит на людей сверху вниз и даже редко дает себе труд скрывать *свои полупрезрительные и полупокровительные отношения* к тем, которые его ненавидят, и к тем, которые слушаются. Он никого не любит. Он считает совершенно излишним стеснять свою особу в чем бы то ни было. В его цинизме две стороны, внутренняя и внешняя, цинизм мыслей и чувств и цинизм манер и выражений. Ироническое отношение к чувству всякого рода, к мечтательности, к лиризму составляет сущность внутреннего цинизма. Грубое выражение этой иронии, *беспричинная и бесцельная*

---

<sup>2</sup> Юность любит выражаться разными несоизмеримостями и поражать воображение бесконечно великими образами. Последняя фраза мне так и напоминает Карла Моора, Фердинанда и Дон-Карлоса 3. (Примеч. А. И. Герцена.)

резкость в обращении относятся к внешнему цинизму. Б. не только эмпирик, он, кроме того, неотесанный бурш. В числе почитателей Б. найдутся, наверное, такие люди, которые будут восхищаться его грубыми манерами, следами бурсацкой жизни, будут подражать этим манерам, составляющим во всяком случае *недостаток*, а не достоинство<sup>3</sup>.

Такие люди всего чаще вырабатываются при серой обстановке трудовой жизни; от сурового труда грубеют руки, грубеют манеры, грубеют чувства, человек крепнет и прогоняет юношескую мечтательность, избавляется от слезливой чувствительности; за работой мечтать нельзя, на мечту человек смотрит, как на блажь, свойственную праздности и барской изнеженности, нравственные страдания он считает мечтательными, нравственные стремления и подвиги – придуманными и нелепыми. *Он чувствует отвращение к фразистости».*

Затем Писарев представляет генеалогическое дерево Базарова: Онегины и Печорины родили Рудиных и Бельтовых,

---

<sup>3</sup> Предсказание сбылось. Странная вещь – это взаимодействие людей на книгу и книги на людей. Книга берет весь склад из того общества, в котором возникает, обобщает его, делает более наглядным и резким, и вслед за тем бывает обойдена реальностью. Оригиналы делают шаржу своих резко оттененных портретов, и действительные лица вживаются в свои литературные тени. В конце прошлого века все немцы сбивали немного на Вертера, все немки на Шарлотту; в начале нынешнего университетские Вертеры стали превращать ся в «разбойников», не настоящих, а шиллеровских. Русские молодые люди, приезжавшие после 1862, почти все были из «Что делать?», с прибавлением нескольких базаровских черт. (Примеч. А. И. Герцена.)

Рудины и Бельтовы – Базарова (по воле или по неволе выпущены декабристы – не знаю).

Усталые, скучающие люди заменяются людьми, стремящимися к делу, жизнь бракует обоих, как негодных и неполных. «Пострадать им иногда придется, но сделать дело никогда не удастся. Общество к ним глухо и неумолимо. Они не умеют ужиться с его условиями, ни один из них не дослужился до *начальников отделения*. Иные утешаются, становясь профессорами и работая для будущего поколения». Отрицательная польза, приносимая ими, не подлежит сомнению. Они размножают людей, *неспособных* к практической деятельности, вследствие чего самая практическая деятельность, или, вернее, те формы, в которых она обыкновенно выражается теперь, медленно, но постоянно понижается в мнении общества.

«Казалось (после Крымской кампании), что рудинству приходит конец, что за эпохой бесплодных мечтаний и стремлений наступает эпоха кипучей и полезной деятельности. Но мираж рассеялся. Рудины не сделались практическими деятелями, из-за них выдвинулось новое поколение, которое *с укором и насмешкой* отнеслось к своим предшественникам. «Об чем вы ноете, чего вы ищете, чего просите от жизни? Вам, небось, счастья хочется? Да ведь мало что! Счастье надо завоевать. Есть силы – берите его. Нет сил – *молчите*, а то и без вас тошно!» Мрачная, сосредоточенная энергия сказывалась в этом *недружелюбном* отношении мо-



лодого поколения к своим наставникам. В своих понятиях о добре и зле это поколение сходилось с лучшими людьми предыдущего, симпатии и антипатии были общие; *желали они одного и того же, но люди прошлого метались и суетились. Люди настоящего не мечутся, ничего не ищут, не поддаются ни на какие компромиссы и ни на что не надеются. Они так же бессильны, как и Рудины, но они сознали свое бессилие.*

«Я не могу действовать теперь, – думает каждый из этих новых людей, – не стану и пробовать, *я презираю все, что меня окружает*, и не стану скрывать моего презрения. В борьбу со злом я пойду, когда почувствую себя сильным. Не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать... Суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и мирозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений. Им дела нет, идет ли за ними общество; они полны собой, своей внутренней жизнью. Словом, у Печоринных *есть* воля без знания, у Рудиных – знание без воли, у Базаровых – и знание и воля. *Мысль и дело сливаются в одно твердое целое*».

Тут все есть, как видишь, если нет ошибки, и характеристика и классификация – все коротко и ясно, сумма подведена, счет подан, и с той точки зрения, с которой автор взял вопрос, совершенно верно.

Но мы этого счета не принимаем и протестуем против него из наших преждевременных и не наступивших могил.

Мы не Карл V и никак не хотим, чтоб нас хоронили живыми.

Странные судьбы *отцов и детей*! Что Тургенев вывел Базарова не для того, чтоб погладить по головке – это ясно; что он хотел что-то сделать в пользу отцов – и это ясно. Но в соприкосновении с такими жалкими и ничтожными отцами, как Кирсановы, крутой Базаров увлек Тургенева, и вместо того, чтоб посечь сына, он выпорол отцов.

Оттого-то и вышло, что часть молодого поколения узнала себя в Базарове. Но мы вовсе не узнаем себя в Кирсановых, так, как не узнавали себя ни в Маниловых, ни в Собакевичах, несмотря на то, что Маниловы и Собакевичи существовали сплошь да рядом во время нашей молодости и теперь существуют.

Мало ли какие стада нравственных недоносков живут в одно и то же время в разных слоях общества, в разных направлениях его; без сомнения, они представляют больше или меньше общие типы, но не представляют самой резкой и характеристичной стороны своего поколения, стороны, наиболее выражающей его интенсивность. Писаревский Базаров, в одностороннем смысле, – до некоторой степени предельный тип того, что Тургенев называл *сыновьями*, в то время как Кирсановы самые стертые и пошлые представители отцов.

Тургенев был больше художник в своем романе, чем думают, и оттого сбился с дороги, и по-моему, очень хорошо сделал – шел в комнату, попал в другую, зато в лучшую.

Что бы ему было прислать Базарова в Лондон? Плюгавый

Писемский не побоялся путевых расходов для взбаламученных уродцев своих. Мы, может быть, доказали бы ему на берегах Темзы, что можно, и не дослуживаясь до *начальника отделения*, приносить не меньше пользы, чем приносит любой *начальник департамента*, что общество не всегда глухо и неумолимо, когда протест попадает в тон, что дело иногда удается, что у Рудиных и Бельтовых иной раз бывает и воля, и настойчивость и что, видя невозможность деятельности, к которой они стремились по внутреннему влечению, они бросали *многое*, уезжали на чужбину и заводили «не метавшись и не суетясь» русскую книгопечатню и русскую пропаганду.

Влияние лондонского станка от 1856 до конца 1863 года – не только практический факт, но факт исторический. Стереть его нельзя, с ним надобно примириться.

Базаров в Лондоне увидел бы, что это только издали казалось, что мы размахиваем руками, а что на самом деле мы ими работали. Может, он сменил бы гнев на милость и перестал бы относиться к нам «с укором и насмешкой».

Я признаюсь откровенно, мне лично это метанье камнями в своих предшественников – противно. Повторяю сказанное («Былое и думы», IV том): «Хотелось бы спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки. Пора отцам Сатурнам не закусывать своими детьми, но пора и детям не брать примера с тех камчадалов, которые убивают своих стариков».

Неужели за одной природой остается право, что ее фа-

зы и ступени развития, отклонения и уклонения, даже *avortements*<sup>4</sup>, изучаются, принимаются, обдумываются *sine ira et studio*<sup>5</sup>, а как дойдет дело до истории – тотчас в сторону метод физиологический и на место его уголовная палата и управа благочиния?

Онегины и Печорины прошли.

Рудины и Бельтовы проходят.

Базаровы пройдут... и даже очень скоро. Это слишком натянутый, школьный, взвинченный тип, чтоб ему долго удержаться.

На его смену напрашивался уже тип, в весне дней своих сгнивший, тип православного студента, *консерватора и казеннокоштного патриота*, в котором отрыгнулось все гнусное императорской Руси и который сам сконфузился после серенады Иверской и молебна Каткову.

Все возникнувшие типы пройдут и все с той неутрачиваемостью однажды возбужденных сил, которую мы научились узнавать в физическом мире, останутся и взойдут, видоизменяясь, в будущее движение России и в будущее устройство ее.

А потому не интереснее ли, вместо того, чтобы стравлять Базарова с Рудиным, разобрать, в чем *красные нитки*, их связующие, и в чем причины их возникновений и их превращений? Почему именно эти формы развития вызвались на-

---

<sup>4</sup> недоразвитые формы (*франц.*)

<sup>5</sup> без гнева и пристрастий (*лат.*)

шей жизнью, и почему они так переходили одна в другую? Несходство их очевидно, но чем-нибудь были же они и близки друг другу.

Типы – легко схватывают различия, для резкости в них увеличивают углы и выпуклости, обводят густой краской пределы, обрывают связи – переливы теряются, и единство остается вдали за туманом, как поле, соединяющее подошвы гор, далеких друг от друга, ярко освещенными вершинами.

К тому же мы грузим на плечи типов больше, чем они могут вынести, и придаем им в жизни значение, которого они не имели или имели в ограниченном смысле. Брать Онегина за *положительный* тип умственной жизни двадцатых годов, за интеграл всех стремлений и деятельности проснувшегося слоя – совершенно ошибочно, хотя он и представляет одну из сторон тогдашней жизни.

Тип того времени, один из великолепнейших типов новой истории – это *декабрист*, а не Онегин. Русская литература не могла до него касаться целые сорок лет, но он от этого не стал меньшим.

Как у молодого поколения не достало ясновидения, такта, сердца понять все величие, всю силу этих блестящих юношей, выходящих из рядов гвардии, этих баловней знатности, богатства, оставляющих свои гостиные и свои груды золота для требования человеческих прав, для протеста, для заявления, за которое – и они знали это – их ждали веревка палача и каторжная работа? – Это печальная загадка.

Сердиться на то, что эти люди явились в единственном сословии, в котором было какое-нибудь образование, какой-нибудь досуг и какая-нибудь обеспеченность, – бессмысленно. Если б эти «князья, бояре, воеводы», эти статс-секретари и полковники не проснулись первые от нравственного голода и ждали, чтоб их разбудил голод физический, то не было бы не только ноющих и беспокоящих Рудиных, но и почивших в своем «единстве воли и знания» Базаровых. А был бы какой-нибудь полковой лекарь, который морил бы солдат, обкрадывая их на пайках и лекарствах, и продавал бы приказчику Кирсанова свидетельства о естественной смерти засеченных крестьян, или был бы понытчик-взяточник, вечно пьяный – лупил бы четвертаки с крестьян и подавал бы шинель и калоши его превосходительству начальнику губернии Кирсанову. Да, сверх того, не было бы ни смертельного удара крепостному состоянию, ни всего того, что работает под тяжелой корою власти, подтачивая императорские горностаи и стеганный помещичий халат.

Счастье, что рядом с людьми, которых барские затеи состояли в псарне и дворне, в насиловании и сечении дома, в раболепстве в Петербурге, нашлись такие, которых «затеи» состояли в том, чтоб вырвать из их рук розгу и добиться простора – не ухарству на отъезде поле, а простора уму и человеческой жизни. Была ли эта затея их серьезным делом, их страстью – они это доказали на виселице, на каторге... они это доказали, возвратившись через тридцать лет из Сибири.

Если в литературе сколько-нибудь отразился, слабо, но с родственными чертами, тип декабриста – это в Чацком.

В его озлобленной, желчевой мысли, в его молодом негодовании слышится здоровый порыв к делу, он чувствует, чем недоволен, он головой бьет в каменную стену общественных предрассудков и пробует, крепки ли казенные решетки. Чацкий шел прямой дорогой на каторжную работу, и если он уцелел 14 декабря, то наверно не сделался ни страдательно тоскующим, ни гордо презирающим лицом. Он скорее бросился бы в какую-нибудь негодующую крайность, как Чаадаев, – сделался бы католиком, ненавистником славян или славянофилом, – но не оставил бы ни в каком случае своей пропаганды, которой не оставлял ни в гостиной Фамусова, ни в его сенях, и не успокоился бы на мысли, что «его час не настал». У него была та беспокойная неутомимость, которая не может выносить диссонанса с окружающим и должна или сломить его, или сломиться. Это – то брожение, в силу которого невозможен застой в истории и невозможна плесень на текущей, но замедленной волне ее.

Чацкий, если б пережил первое поколение, шедшее за 14 декабрём в страхе и трепете, сплюснутое террором, выросшее пониженное, задавленное, – через них протянул бы горячую руку нам. С нами Чацкий возвращался на свою почву. Эти *rimes croisées*<sup>6</sup> через поколения – не редкость, даже в зоологии. И я глубоко убежден, что мы с детьми Базарова

---

<sup>6</sup> перекрестные рифмы (франц.)

встретимся симпатично, и они с нами – «без озлобления и насмешки».

Чацкий не мог бы жить, сложа руки, ни в капризной брюзгливости, ни в надменном самообоготворении; он не был настолько стар, чтоб находить удовольствие в ворчливом будировании, и не был так молод, чтоб наслаждаться от-роческими самоудовлетворениями. В этом характере беспокойного фермента, бродящих дрожжей – вся сущность его.

Но именно эта-то сторона и не нравится Базарову, она-то его и озлобляет в его гордом стоицизме. «Молчите в своем углу, коли сил нет что-нибудь делать, а то и без вашего хныканья тошно, – говорит он, – побиты, ну и сидите побитые... Что вам, есть, что ли, нечего, что плачете, это все барские затеи» и т. д.

Писарев должен был так говорить за Базарова, этого требовала его роль.

Не играть роли, пока она нравится, трудно. Снимите с Базарова его мундир, заставьте его забыть жаргон, на котором он говорит, дайте ему волю *просто*, без *фразы* (ему, который так ненавидит *фразерство!*) сказать одно слово, дайте ему на минуту забыть свою ежевую обязанность, свой искусственно сухой язык, свою стегающую роль, и мы объяснимся во всем остальном в один час.

«В своих понятиях о добре и зле новое поколение сходилось с прошедшим. Симпатии и антипатии, – говорит Писарев, – были общи, желали они одного и того же... В глубине



души они признают многое, что отрицают на словах». Мудрено ли после этого столкнуться.

Но пока облаченье не снято, Базаров последовательно требует от людей, сдавленных всем на свете, оскорбленных, измученных, лишенных сна и возможности наяву делать что-нибудь, чтоб они не говорили о боли; это сильно сбивается на аракчеевщину.

На каком же основании отнять право на горькую жалобу Лермонтова, например, на его упреки своему поколению, от которых многие вздрогнули? Чем, в самом деле, был бы лучше николаевский острог, если б в нем тюремные сторожа были так же раздражительно нервны и привязчивы, как Базаров, – и подавили бы эти голоса?

– Да зачем они? Что проку?

– А зачем камень издает звук, когда его бьют молотом?

– Он не может иначе.

– А почему эти господа думают, что люди могут страдать целые поколения, без слов, жалобы, негодования, проклятия, протеста? Если не для других нужна жалоба, то для самих жалующихся. Высказанная скорбь утоляет боль. «Ihm, – говорит Гёте, – gab ein Gott zu sagen was er leidet»<sup>7</sup>.

– А нам что за дело?

– Может, вам и нет, так другим, может, *есть*; но нельзя терять из виду, что каждое поколение живет тоже и *для себя*. С точки зрения истории оно переход, но в отношении к себе

---

<sup>7</sup> «Бог позволил ему выразить его страдания» (нем.).

оно цель и не может, не должно безропотно выносить на него падающие невзгоды – особенно не имея даже того утешения, которое имел Израиль, ожидавший мессию, и вовсе не зная, что от семени Онегиных и Рудиных родится Базаров.

В сущности, наших юношей приводит в ярость то, что в нашем поколении выражалась *наша* потребность деятельности, *наш* протест против существующего *иначе*, чем у них, и что мотив того и другого не всегда и не вполне зависел от голода и холода.

Нет ли в этом пристрастии к однообразию того же раздражительного духа, который сделал у нас из канцелярской формы сущность дела и из военных эволюции – шагистику? Из этой стороны русского характера развились статская и военная аракчеевщина. Всякое личное, индивидуальное проявление, отступление – считалось непокорством и возбуждало преследования и беспрерывные придирки. Базаров – не оставляет никого в покое, всех задирает свысока. Каждое слово его – выговор высшего низшему. Это не имеет будущности.

«Если, – говорит Писарев, – базаровщина – болезнь нашего времени, то ее придется выстрадать».

Ну и довольно. Болезнь эта к лицу только до окончания университетского курса; она, как прорезывание зубов, совершеннолетию не пристала.

Худшая услуга, которую Тургенев оказал Базарову, состоит в том, что, не зная, как с ним сладить, он его казнил ти-

фом. Это такая *ultima ratio*<sup>8</sup>, против которой никто не устоит. Уцелей Базаров от тифа, он наверное развился бы вон из базаровщины, по крайней мере в науку, которую он любил и ценил в физиологии и которая не меняет своих приемов, лягушка ли, или человек, эмбриология ли, или история у нее в переделе.

«Базаров выбил из своей головы всякие предрассудки, затем он остался человеком крайне необразованным. Он слышал кое-что о поэзии, кое-что об искусстве, *не потрудился* подумать *и с плеча* произнес приговор над незнакомым предметом. Эта заносчивость *свойственна нам* вообще, она имеет свои хорошие стороны, как умственная смелость, но зато порой приводит к грубым ошибкам».

Наука спасла бы Базарова, он перестал бы глядеть на людей свысока, с глубоким и нескрываемым презрением. Наука учит нас, больше, чем евангелие, смирению. Она не может ни на что глядеть свысока, она не знает, что такое *свысока*, она ничего не презирает, никогда не лжет для роли и ничего не скрывает из кокетства. Она останавливается перед фактами, как исследователь, иногда, как врач, никогда, как палач, еще меньше с враждебностью и иронией.

Наука – я ведь не обязан скрывать несколько слов в тиши душевной, – наука – *любовь*, как сказал Спиноза о мысли и ведении.

---

<sup>8</sup> решительный довод (*лат.*)

## Письмо второе

Прошедшее оставляет в истории *ступню*, по которой наука рано или поздно восстанавливает былое в основных чертах. Утрачивается одно случайное освещение – под тем или другим углом, под которым оно проходило. Апотеозы и клеветы, пристрастия и зависти, – все это выветривается и сдувается. Легкая ступня, занесенная песком, исчезает; ступня, имевшая силу и настойчивость выдавить себя на камне, и воскреснет под рукой честного труженика.

Связи, степени родства, завещатели и наследники и их взаимные права – все раскроется геральдикой науки.

Без предшественников рождаются только богини, как Венера из пены морской. Минерва умнее ее, родилась из готовой головы Юпитера.

Декабристы – наши великие отцы, Базаровы – наши блудные дети.

Мы от декабристов получили в наследство возбужденное чувство человеческого достоинства, стремление к независимости, ненависть к рабству, уважение к Западу и революции, веру в возможность переворота в России, страстное желание участвовать в нем, юность и непочатость сил.

Все это переработалось, стало иным, но основы целы. Что же наше поколение завещало новому?

*Нигилизм.*

Вспомним немного, как было дело.

Около сороковых годов жизнь, из-под туго придавленных клапанов, стала сильнее прорываться. Во всей России прошла едва уловимая перемена, та перемена, по которой врач замечает прежде отчета и пониманья, что в болезни есть *поворот к лучшему*, что силы очень слабы, но будто поднялись – другой *тон*. Где-то внутри, в нравственно-микроскопическом мире, повеял иной воздух, больше раздражительный, но и больше здоровый. Наружно все было мертво под николаевским льдом, но что-то пробудилось в сознании, в совести – какое-то чувство неловкости, неудовольствия. Ужас притупился, людям надоело в полумраке темного царства.

Я эту перемену видел своими глазами, приехавши из ссылки, сначала в Москве, потом в Петербурге. Но я увидел это в кругах литераторов и ученых. Другой человек, которого остзейская антипатия к русскому движению ставит выше подозрения в пристрастии, рассказал не так давно, как он, возвратившись в сороковых годах в петербургскую аристократию казарм, после отсутствия нескольких лет, был озадачен послаблением дисциплины. Флигель-адъютанты, гвардейские полковники роптали, критиковали меры правительства, были недовольны *самим* Николаем. Его это до того ошеломило, огорчило, испугало за будущность самодержавия, что он в смятении духа почувствовал за обедом у флигель-адъютанта Б., чуть ли не в присутствии самого Дубель-

та, как между сыром и грушей родился *нигилизм*.

Он не узнал новорожденного, но новорожденный был. Машина, завинченная Николаем, стала подаваться, он ее свинтил на другую сторону, и все это почувствовали; одни говорили, другие молчали, запрещали говорить, но те и другие поняли, что, в сущности, все идет плохо, что всему тяжело и что от этой тяжести никому нет прока.

Замешался в дело смех, дурной товарищ всякой *религии*, а *самодержавие* – религия. Мерзость и запустение низшей администрации дошли до того, что правительство отдало ее на поруганье. Николай Павлович, помиравший со смеху в своей ложе над Сквозником-Дмухаковским и Держимордой, помогал пропаганде, не догадываясь, что смех, после высочайшего одобрения, пойдет быстро вверх по табели о рангах.

Приложить к этому времени во всей их резкости рубрики Писарева трудно. В жизни все состоит из переливов, колебаний, перекрещиваний, захватываний и перехватываний, а не из отломленных кусков.

Где окончились люди без знания с волей и начались люди с знанием без воли?

Природа решительно ускользает от взводного ранжира, даже от ранжира по возрастам. Ермонов летами был товарищ Белинского, он был вместе с нами в университете, а умер в безвыходной безнадежности печоринского направления, против которого восставали уже и славянофилы, и мы.

Кстати, я назвал славянофилов. Куда деть Хомякова и его

«братчиков»? Что у них было – воля без знания или знание без воли? А место они заняли не шуточное в новом развитии России, они свою мысль далеко вдавили в современный поток.

Или в какой рекрутский прием и по какой мере мы сдадим Гоголя? Знания у него не было, была ли воля – не знаю, сомневаюсь, а гений был, и его влияние колоссально.

Итак, оставляя *lapides crescunt, planta crescunt et vivunt...*<sup>9</sup> Писарева, пойдём далее.

Тайных обществ не было, но *тайное соглашение* понимающих было велико. Круги, составленные из людей, больше или меньше испытывавших на себе медвежью лапу правительства, смотрели чутко за своим составом. Всякое другое, действие, кроме слова, и то маскированного, было невозможно, зато слово приобрело мощь, и не только печатное, но еще больше живое слово, меньше уловимое полицией.

Две батареи выдвинулись скоро. Периодическая литература делается пропагандой, в главе ее становится, в полном разгаре молодых сил, – Белинский. Университетские кафедры превращаются в налои, лекции – в проповеди, очеловеченья, личность Грановского, окруженного молодыми доцентами, выдается больше и больше.

Вдруг еще взрыв смеха. Странного смеха, страшного смеха, смеха судорожного, в котором был и стыд, и угрызение совести, и, пожалуй, не смех до слез, а слезы до смеха. Неле-

---

<sup>9</sup> камни растут, растения растут и живут (*лат.*)

пый, уродливый, узкий мир «Мертвых душ» не вынес, осел и стал отодвигаться. А проповедь шла сильнее... все одна проповедь – и смех и плач, и книга и речь, и Гегель<sup>10</sup> и история – все звало людей к сознанию своего положения, к ужасу перед крепостным правом и перед собственным бесправием, все указывало на науку и образование, на очищение мысли от всего традиционного хлама, на свободу совести и разума.

К этому времени принадлежат первые зарницы *нигилизма* – зарницы той совершеннейшей свободы от всех готовых понятий, от всех унаследованных обструкций и завалов, которые мешают западному уму идти вперед с своим историческим ядром на ногах...

Тихая работа сороковых годов разом, оборвалась. Времена, чернее и тяжелее начала николаевского царствования, наступили после Февральской революции. Перед началом гонений умер Белинский. Грановский завидовал ему и стремился оставить отечество.

Темная семилетняя ночь пала на Россию, и в ней-то сложился, развился и окреп в русском уме тот склад мыслей, тот прием мышления, который называли *нигилизмом*.

Нигилизм (повторяю сказанное недавно в «Колоколе») – это логика без структуры<sup>11</sup>, это наука без догматов, это без-

---

<sup>10</sup> Диалектика Гегеля – страшный таран, она, несмотря на свое двуличие, на прусско-протестантскую кокарду, улетучивала все существующее и распускала все мешавшее разуму. К тому же это было время Фейербаха, *der kritischen Kritik*... (критической критики) (нем.) (Примеч. А. И. Герцена.)

<sup>11</sup> ограничения (от *франц. stricte*)



условная покорность опыту и безропотное принятие всех последствий, какие бы они ни были, если они вытекают из наблюдения, требуются разумом. Нигилизм не превращает *что-нибудь* в ничего, а раскрывает, что *ничего*, принимаемое за *что-нибудь*, – оптический обман и что всякая истина, как бы она ни перечила фантастическим представлениям, – здоровее их и во всяком случае обязательна.

Идет это название к делу или нет, это все равно. К нему привыкли, оно принято друзьями и врагами, оно попало в полицейский признак, оно стало доносом, обидой у одних – похвалой у других. Разумеется, если под *нигилизмом* мы будем разуметь обратное творчество, то есть превращение фактов и мыслей в *ничего*, в бесплодный скептицизм, в надменное «сложив руки», в отчаяние, ведущее к бездействию, тогда настоящие нигилисты всего меньше подойдут под это определение, и один из величайших нигилистов будет И. Тургенев, бросивший в них первый камень, и, пожалуй, его любимый философ Шопенгауэр.

Когда Белинский, долго слушая объяснения кого-то из друзей о том, что *дух* приходит к самосознанию в человеке, с негодованием отвечал: «Так это я не для себя сознаю, а для духа... Что же я ему за дурак достался, лучше не буду вовсе думать, что мне за забота до его сознания...» Он был *нигилист*.

Когда Бакунин уличал берлинских профессоров в робости отрицанья и парижских революционеров 1848 года в

консерватизме, – он был вполне *нигилист*. Вообще все эти межевания и ревнивые отталкивания ни к чему не ведут, кроме насильственного антагонизма.

Когда петрашевцы пошли на каторжную работу за то, что «хотели ниспровергнуть все божеские и человеческие законы и разрушить основы общества», как говорит сентенция, выкрадывая выражения из инквизиторской записки Липранди, – они были *нигилистами*.

Нигилизм с тех пор расширился, яснее сознал себя, долею стал доктриной, принял в себя многое из науки и вызвал деятелей с огромными силами, с огромными талантами... все это неоспоримо.

*Но новых начал, принципов он не внес.*

Или где же они?

На это я жду ответа от тебя или, пожалуй, от кого-нибудь другого и тогда буду продолжать.